

Был слух, будто Георгий Константинович Жуков лучшей фронтовой песней считал «По Смоленской дороге — леса, леса, леса». И напрасно маршала уверяли: песня — послевоенная!

— Что вы мне говорите? Я же помню, как у нас ее пели в 43-м...

Было? Не было? Не знаю. Сам я видел лишь то, как, слушая «По Смоленской дороге...», всякий раз плакал К. Г. Паустовский.

«Фольклором городской интеллигенции» гениально назвал песни Окуджавы Александр Володин. Фольклором, то есть искусством «всехним», однако — интеллигенции, то есть той среды и породы, которой свойственно пестовать индивидуальность. Парадокс?

Как известно, традиционная песня — это лирика коллектива (народа, партии, уголовной банды — у кого какой коллектив). Оттого песня чужается слишком индивидуальных перипетий, психологических головоломок, узко бытовых ситуаций: она мыслит и чувствует просто и крупно. В ней — Он, Она, Любовь, Беда, Разлука. И песенные эпитеты скупо переборчивы, воплощая в себе норму. Или — антинорму. Красна девица. Поле чистое. Солнце ясное. Идолище поганое.

Стоит добавить, что песня типично советская (чей коллектив, вернее, ориентир — часто не столько народная масса, сколько партия и правительство с их нормативами) по своему замечательно использовала это природное свойство. Лучший советский песенник Исаковский способен создать потрясающее: «Враги сожгли родную хату», но как часто тексты его стерты до безликости, слащавы до приторности...

(А коллектив и ориентир современной пошлы — увя, быдло.)

Окуджаву свершил, казалось, несвершимое: сделал песню детищем лишь собственной индивидуальности — и разбудил индивидуальности иные. «Булат может, а я не могу?» — был первый полутитливый позыв Александра Галича (слышано мною от него самого). А Высоцкий? Ким?

Но мы — об Окуджаве. О такой, например, песне:

**А что я сказал
медсестре Марии,
когда обнимал ее?
— Ты знаешь,
а вот офицерские дочки
на нас, на солдат,
не глядят.**

Что здесь — поначалу? Бестактность мальчишки, не замечающего, как унижает девушку. Но далее будут: поле клевера, «тихое, как река», волны, качающие девушку и солдата, голубые глаза Марии, ставшие черными и бездонными. Будет не деловитый секс, а нечто, поднимавшее обоих над скудной плотской забавой. И вот после этого, после такого: «И я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет: «Нет, ты представь: офицерские дочки на нас и глядеть не хотят».

Поздно осознанная вина, поздно пришедший стыд. Поздно: когда уже не исправить сказанного, не искупить душевной грубости. Вот рефлексия интеллигента. Мука индивидуальности. Самосознание — верней, самоОсознание личности.

А «Прощание с новогодней елкой», находящееся уж поистине на общем слуху? Горький упрек «кавалерам», кому вчера еще льстила рифма «гренадеры» и кто нынче предал предмет своего обожания?
**Нет бы собраться им —
время унять,
нет бы им всем —
расстаться...
Но начинают колеса
стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь**

**Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли
с креста,
и воскресенья не будет.**

В начальном варианте было: «И, как Христа, тебя сняли с креста...», но Окуджаву оттолкнула от грубоватой внутренней рифмы и, главное, от прямолинейного уподобления елки Иисусу. Ассоциация стала тоньше, неуловимее: «крест», «воскресенье» — то ли это намек на Голгофу, то ли крестообразное подножие ели. То ли Христово воскресение из мертвых, то ли

одноразово спетые Окуджавой на двадцатилетнем юбилее театра «Современник». Привожу их целиком — по «Актёрской книге» Михаила Козакова:
**За что мы боролись
в искусстве —
все наше, все в целости.
Мы, как говорится,
в почете, в соку и в сегле,
а все-таки жаль:
что нет надобности
быть в смелости,
чтоб нам заявить
о рождении своем на земле.
Успехами мы не кичимся
своими огромными,**

надпись на книге была сделана в пору, когда песни почти не писались. Но тут и другое. Судьба самых лучших стихов, положенных на музыку, — их сразу возросшая популярность, доходчивость, но и то, что мелодия делает их как бы частью себя. Эмоциональность восприятия сильней, чем восприятие смысловое, и замечено: даже искренне любящие «певца» Окуджаву не всегда в достаточной степени слышат Окуджаву-поэта. Потому — прочтем его известную песню (каковую, кстати сказать, пели в фильме Динары

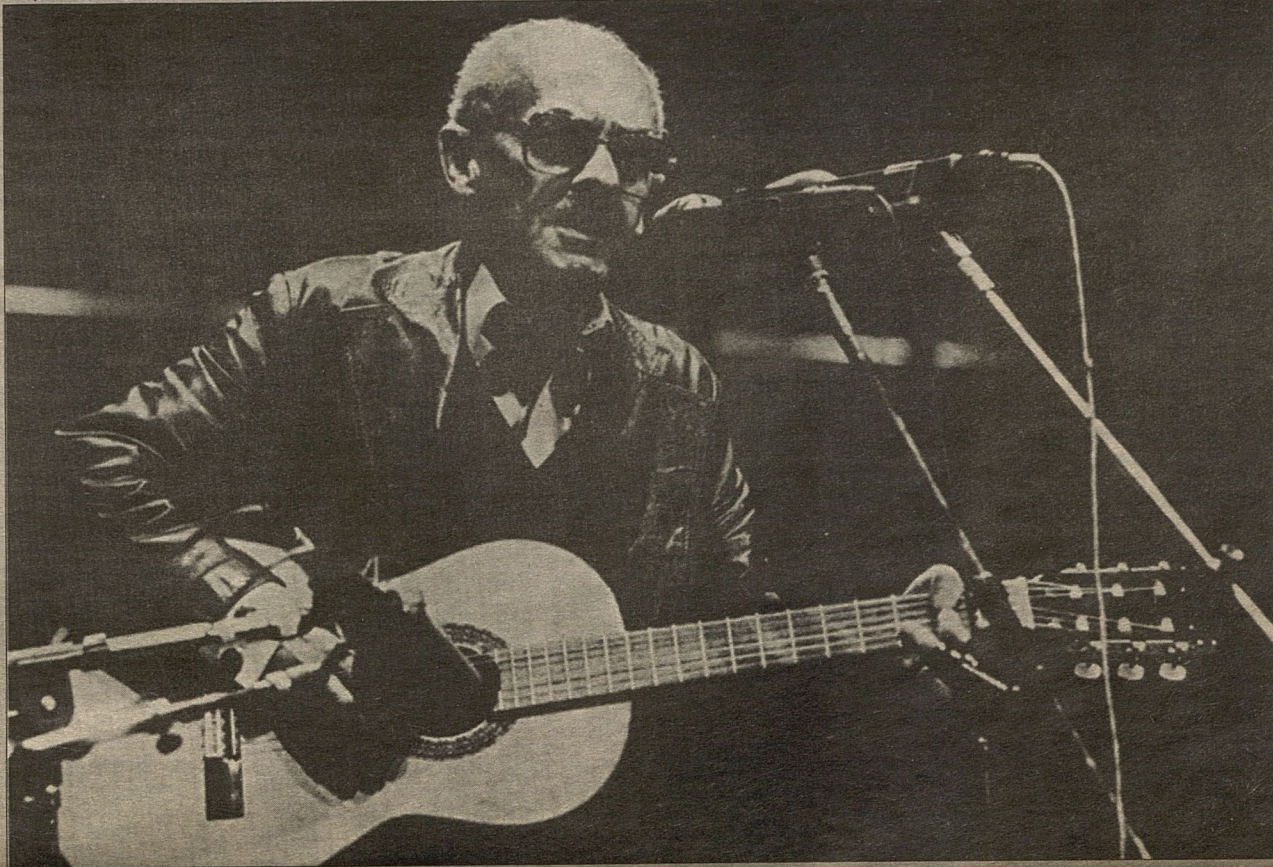
**А разве ты нам обещала
чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем,
пока молодые,
мы сами себе сочиняем
и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет
не вовремя нас...**
Да, сами. Сами впадаем в самообман, и «состоянье надеющегося» (или «верящее ожиданье») не виною тому. И настоящее, неподдельное сами не узнаем в лицо, запоздало осознавая потерю:
**Ты наша сестра, мы твои
торопливые судьи,**

Такие стихи — не о расставании, а о распаде! — пишутся в минуты, когда не хочется жить. Даже не кровью, но желчью. Однако вот странность: ведь и в «Прощании с новогодней елкой» ее, смело приравненную к православному храму («Ель моя, ель, словно Спас-на-крови...») и бесповоротно ненужную, покосившуюся, равнодушно тащили... Куда же еще, кроме свалки или помойки?

Трагизм не пришел вместе с возрастом и тем паче только извне, из разочаровавшей реальности. Он — пророс.



ТРИ ЛЕГЕНДЫ ОБ ОКУДЖАВЕ. ТРЕТЬЯ:



ГИТАРИСТ, или Страсти вокруг новогодней елки

просто день отдыха. Такова сложная, зыбкая, деликатная поэтика стихотворения, где и ель — подобие женщины, напоминание о ней. А христианская символика здесь, как вообще в русской поэзии, — наиболее несомненное воплощение муки и вины. На вершине, в основе ее — мука Распятого и вина распнувших (или допустивших распятие), в обыденной жизни — множество наших мук и наших провинностей. Хотя бы и перед женщиной...

И все это в целом — песня, которую всякий... Ну, не всякий, но близкий по духу может ощущать как свою. Да, повторю, фольклор — но в границах интеллигентности; свойство, которое Окуджаву отказывался воспринимать как принадлежность касты. В котором он видел — помимо большой совести — то, что, впрочем, от совестливости и неотделимо: «способности сомневаться в собственной правоте и отсюда склонности к самоиронии».

Склонность, им самим явленную неоднократно и беспопально.

«А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа... Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается... Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет». Не всем, кто твердо помнит эти строки, исполненные веры в чудо, известны другие — полудомашние,

**умеем быть скромными
даже в торжественный час.**

**А все-таки жаль,
что не будем мы больше
бездомными
и общий костер согревать
уже будет не нас.**

**Премьера огна на ходу,
а другая вынашивается.
Чего же нам больше?
Господи, как повезло!**

**Машины нас ждут,
Александр Сергеевич
направляется.
Пожалуй, излишне,
чтоб что-нибудь произошло.**

Жесточайшая автопародия. Авто!.. И — прощание с наивностью прежней песни, с ее светом надежды? Уж не опровержение ли?..

От бывшего гитариста, — написал Окуджаву одну из дареных мне книг (позднюю, 94-го года). Могу улыбнуться, вспомнив историю, вероятно, отчасти навешенную эту надпись: как мы в пору его — было ж такое! — малоизвестности оказались на свадьбе приятеля и родственника невесты расписали по старинке, куда кому надлежит сесть. Всюду были наши фамилии, и лишь у прибора, предназначенного Окуджаве, значилось: «Гитарист». Слава Богу, эту бумажку от него в тот момент удалось утаить.

Могу и взгрустнуть: «бывший» всегда звучит невесело, а

Асановой две поселковые школьницы, кому смысл ее слов был категорически недоступен — хотя бы по возрасту. Слово режиссер нарочно решил доказать высказанным мною тезис):
**Я вновь повстречался
с Надеждой —
приятная встреча.
Она проживает все там же
— то я был далече.**

**Все то же на ней
из поплина шикарное
платье,
все так же горящ ее взор,
устремленный в века...
Ты наша сестра, мы твои
непутевые братья,
и трудно поверить,
что жизнь коротка.**

Надежда здесь — и живая женщина, и то, что скудно определяет современный словарь: «Ожидание чего-либо желаемого, соединенное с уверенностью в возможности осуществления» и полно, богато — словарь Даля. (Надеялись, что ли, в те времена не так вяло, как нынче?) «Упованье, состояние надеющегося; опора, прибежище, уют; отсутствие отчаянья, верящее выживание и призывание желаемого, лучшего; вера в помощь, в пособие».

Вдумаемся покаянно во вторую строку песни. «Состояние надеющегося» само по себе незримо присутствует в мире, поджидая нас; оно всегда готово дать нам «опору» — это уж мы либо оказываемся «далече», либо, наоборот, чересчур легковесны:

**нам выпало счастье,
да скрылось из глаз.**

Остается задним умом и тоскующим сердцем прикидывать: как оно вышло бы, если бы да кабы:

**Когда бы любовь и надежду
связать воедино,
какая бы (трудно поверить)
возникла картина!
Какие бы нас миновали
напрасные муки,
и только прекрасные муки
глядели б с чела...**

**Ты наша сестра.
Что ж так долго мы были
в разлуке?**

Но сам вопрос — риторически скорбный. Остается мужество безыллюзорности, которое никому не дается просто и сразу. А чаще всего, к сожалению, слишком поздно:
**Нас юность сводила,
да старость свела.**

Для пятидесятилетнего автора этой песни «старость» покуда почти метафора. Много позже, вплотную приблизясь к неметафорическому возрасту, он напишет нечто более горькое; обратится уже не Надежде (любимое имя, любимое слово молодого Окуджавы), а к той «новогодней елке», с которой когда-то успел попрощаться. «Покосился мой храм на крову, впрочем, так же, как прочие стройки. Новогодняя ель — на помойке. Ни надежд, ни судьбы, ни любви...»

Окуджаву никогда не был «постоянно ясен», то бишь, по диагнозу Маяковского, глуп. В ранней юности, когда оптимизм биологический неизбежен, как половое созревание, тому мешала судьба родителей, в зрелости, когда и стали рождаться песни, мешали ум, опыт талант эгетического настроения. Окуджаву поздний, подошедший к смертной черте, вступивший в душу уже не гармонию пушкинианства, а едкую, как кислота, дисгармонию, — он.

«Ни надежд, ни судьбы, ни любви...» — все потери, которые Окуджаву жестоко, жестоко ощутил в собственном сердце, не опровергают ничьих чужих судеб. Не отрицают самой способности жить надеждой; только называют цену всему, чего не ценим по младости или глупости. Не зря в финале «Прощания с новогодней елкой», этого реестра попреков и обвинений, силуэт уходящей Ели воспринимался как «след удивленной любви, вспыхнувшей, неуголенной».

Вспышка — однакратна. После нее остается неуголенность — стало быть, непрекращающаяся жизнь с новой любовью, с новой надеждой, с новыми судьбами.

Станислав РАССАДИН



Окуджавы

2.1.2000